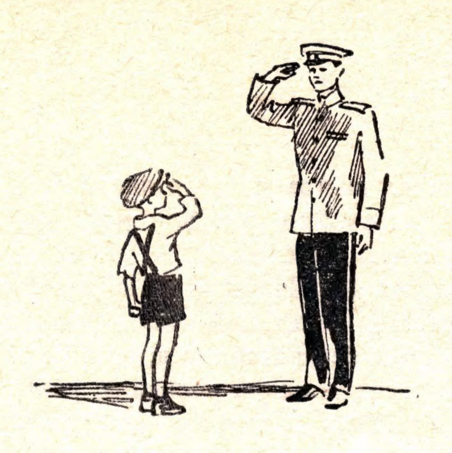
КНИГА ЗА КНИГОЙ



Л. Пантелеев

ЧЕСТНОЕ СЛОВО

Издательство
„Детская литература“



Л. ПАНТЕЛЕЕВ

ЧЕСТНОЕ СЛОВО

РАССКАЗЫ

Издательство
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"
МОСКВА 1969

Р2
П16

В своих книгах я много писал о себе, о своей жизни. Чтобы не повторяться, расскажу о всем коротко.

Родился я в Ленинграде, в 1908 году. В детстве, оставшись без семьи, несколько лет беспризорничал, воспитывался в детских домах и колониях, работал на лимонадном заводе, торговал газетами, был пастухом, сапожником, носильщиком, поварёнком...

Первая моя книга — «Республика Шкид», написанная совместно с Г. Белых, вышла, когда мне было всего семнадцать лет.

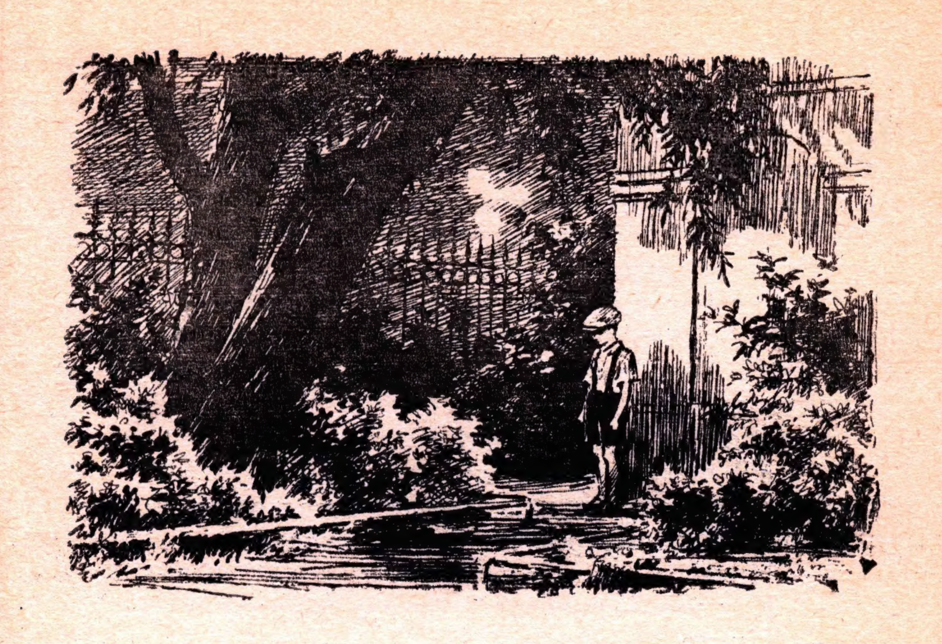
Пишу я всю жизнь для ребят и о ребятах.

В маленькой книге, которую вы сейчас будете читать, собрано несколько рассказов о подвиге.

Л. Пантелеев

Рисунки И. Харкевича

7—6—2



ЧЕСТНОЕ СЛОВО

Мне очень жаль, что я не могу вам сказать, как зовут этого маленького человека, и где он живёт, и кто его папа и мама. В потёмках я даже не успел как следует разглядеть его лицо. Я только помню, что нос у него был в веснушках и что штанишки у него были коротенькие и держались не на ремешке, а на таких лямочках, которые перекидываются через плечи и застёгиваются где-то на животе.

Как-то летом я зашёл в садик — я не знаю, как он называется,— на Васильевском острове, около белой церкви. Была у меня с собой интересная книга, я засиделся, зачитался и не заметил, как наступил вечер. Когда в глазах у меня зарябило и читать стало совсем трудно, я захлопнул книгу, поднялся и пошёл к выходу.

Сад уже опустел, на улицах мелькали огоньки, и где-то за деревьями звенел колокольчик сторожа.

Я боялся, что сад закроется, и шёл очень быстро. Вдруг я остановился. Мне послышалось, что где-то в стороне, за кустами, кто-то плачет.

Я свернул на боковую дорожку — там белел в темноте небольшой каменный домик, какие бывают во всех городских садах,— какая-то будка или сторожка. А около её стены стоял маленький мальчик, лет семи или восьми, и, опустив голову, громко и безутешно плакал.

Я подошёл и окликнул его:

— Эй, что с тобой, мальчик?

Он сразу, как по команде, перестал плакать, поднял голову, посмотрел на меня и сказал:

— Ничего.

— Как это — ничего? Тебя кто обидел?

— Никто.

— Так чего ж ты плачешь?

Ему ещё трудно было говорить, он ещё не проглотил всех слёз, ещё всхлипывал, икал, шмыгал носом.

— Давай пошли,— сказал я ему.— Смотри, уже поздно, уже сад закрывается.

И я хотел взять мальчика за руку. Но мальчик поспешно отдёрнул руку и сказал:

— Не могу.

— Что не можешь?

— Идти не могу.

— Как? Почему? Что с тобой?

— Ничего,— сказал мальчик.

— Ты что, нездоров?

— Нет,— сказал он,— здоров.

— Так почему ж ты идти не можешь?

— Я часовой,— сказал он.

— Как часовой? Какой часовой?

— Ну что вы — не понимаете? Мы играем.

— Да с кем же ты играешь?

Мальчик помолчал, вздохнул и сказал:

— Не знаю.

Тут я, признаться, подумал, что, наверно, мальчик всё-таки болен и что у него голова не в порядке.

— Послушай,— сказал я ему.— Что ты говоришь? Как же это так: играешь и не знаешь с кем?

— Да,— сказал мальчик,— не знаю. Я на скамейке сидел, а тут какие-то большие ребята подходят и говорят: «Хочешь играть в войну?» Я говорю: «Хочу». Стали играть. Мне говорят: «Ты сержант». Один большой мальчик — он маршал был... Он привёл меня сюда и говорит: «Тут у нас пороховой склад. А ты будешь часовой. Стой здесь, пока я тебя не сменю». Я говорю: «Хорошо». А он говорит: «Дай честное слово, что не уйдёшь».

— Ну?

— Ну, я и сказал: «Честное слово, не уйду».

— Ну и что?

— Ну и вот: стою, стою, а они не идут.

— Так,— улыбнулся я.— А давно они тебя сюда поставили?

— Ещё светло было.

— Так где же они?

Мальчик опять тяжело вздохнул и сказал:

— Я думаю: они ушли.

— Как — ушли?

— Забыли.

— Так чего ж ты тогда стоишь?

— Я честное слово сказал...

Я уже хотел засмеяться, но потом спохватился и подумал, что смешного тут ничего нет и что мальчик совершенно прав. Если дал честное слово, так надо стоять, что бы ни случилось — хоть лопни. А игра это или не игра — всё равно.

— Вот так история получилась! — сказал я ему.— Что же ты будешь делать?

— Не знаю,— сказал мальчик и опять заплакал.

Мне очень хотелось ему как-нибудь помочь. Но

что я мог сделать? Идти искать этих глупых мальчишек, которые поставили его на караул, взяли с него честное слово, а сами убежали домой? Да где же их сейчас найдёшь, этих мальчишек! Они уж небось поужинали, и спать легли, и десятые сны видят.

А человек на часах стоит. В темноте. И голодный небось.

— Ты, наверно, есть хочешь? — спросил я у него.

— Да,— сказал он,— хочу.

— Ну, вот что,— сказал я, подумав,— ты вали беги домой, поужинай, а я пока за тебя постою тут.

— Да,— сказал мальчик,— а это можно разве?

— Почему же нельзя?

— Вы же не военный.

Я почесал затылок и сказал:

— Правильно. Ничего не выйдет. Я даже не могу тебя снять с караула. Это может сделать только военный, только начальник...

И тут мне вдруг в голову пришла мысль. Я подумал, что если освободить мальчика от честного слова, снять его с караула может только военный, так в чём же дело? Надо, значит, идти искать военного.

Я ничего не сказал мальчику, только сказал: «Подожди минутку», а сам, не теряя времени, побежал к выходу.

Ворота ещё не были закрыты, ещё сторож ходил где-то в самых дальних уголках сада и дозванивал там в свой колокольчик.

Я стал у ворот и долго поджидал, не пройдёт ли мимо какой-нибудь лейтенант или хотя бы рядовой красноармеец. Но, как назло, ни один военный не показывался на улице.

Вот было мелькнули на другой стороне улицы какие-то чёрные шинели, я обрадовался, подумал, что это военные моряки, перебежал улицу и увидел, что это не моряки, а мальчишки-ремесленники. Прошёл высокий железнодорожник в очень красивой шинели

с ярко-малиновыми нашивками. Но и железнодорожник с его замечательной шинелью мне тоже был в эту минуту ни к чему.

Я уже хотел не солоно хлебавши возвращаться в сад, как вдруг увидел за углом, на трамвайной остановке, защитную командирскую фуражку с синим кавалерийским околышем. Кажется, ещё никогда в жизни я так не радовался, как обрадовался в эту минуту. Сломя голову я побежал к остановке. И вдруг, не успел добежать, вижу: к остановке подходит трамвай, и командир, молодой кавалерийский майор, вместе с остальной публикой собирается протискиваться в вагон.

Запыхавшись, я подбежал к нему, схватил за руку и закричал:

— Товарищ майор! Минуточку! Подождите! Товарищ майор!..

Он оглянулся, с удивлением на меня посмотрел и сказал:

— В чём дело?

— Видите ли в чём дело,— сказал я.— Тут в саду, около будки, на часах стоит мальчик. Он не может уйти, он дал честное слово... Он очень маленький... Он плачет...

Командир посмотрел на меня с испугом. Наверно, он тоже подумал, что я болен и что у меня голова не в порядке.

— При чём же тут я? — сказал он.

Трамвай его ушёл, и он смотрел на меня очень сердито.

Но, когда я немножко подробнее объяснил ему, в чём дело, он не стал раздумывать и сразу же сказал:

— Идёмте, идёмте! Конечно! Что же вы мне сразу не сказали?

Когда мы подошли к саду, сторож как раз вешал на ворота замок. Я попросил его несколько минут подождать, сказал, что в саду у меня остался мальчик, и мы с майором побежали в глубину сада.

В темноте мы с трудом отыскали белый домик. Мальчик стоял на том же месте, где я его оставил, и опять, но на этот раз очень тихо, плакал. Я окликнул его. Он обрадовался, даже вскрикнул от радости, а я сказал:

— Ну вот, я привёл начальника.

Увидев командира, мальчик как-то весь выпрямился, вытянулся и стал на несколько сантиметров выше.

— Товарищ караульный,— сказал ему командир,— какое вы носите звание?

— Я сержант,— сказал мальчик.

— Товарищ сержант, приказываю оставить вверенный вам пост.

Мальчик помолчал, посопел носом и сказал:

— А у вас какое звание? Я не вижу, сколько у вас звёздочек...

— Я — майор,— сказал командир.

И тогда мальчик приложил руку к широкому козырьку своей серенькой кепки и сказал:

— Есть, товарищ майор: приказано оставить пост.

И сказал это он так звонко и так ловко, что мы оба не выдержали и расхохотались.

И мальчик тоже весело и с облегчением засмеялся.

Не успели мы втроём выйти из сада, как за нами хлопнули ворота и сторож несколько раз повернул в скважине ключ.

Майор протянул мальчику руку.

— Молодец, товарищ сержант! — сказал он.— Из тебя выйдет настоящий воин. До свиданья!

Мальчик что-то пробормотал и сказал:

— До свиданья...

А майор отдал нам обоим честь и, увидев, что опять подходит его трамвай, побежал к остановке.

Я тоже попрощался с мальчиком и пожал ему руку.

— Может быть, тебя проводить? — спросил я у него.

— Нет, я близко живу. Я не боюсь,— сказал мальчик.

Я посмотрел на его маленький веснушчатый нос и подумал, что ему действительно нечего бояться. Мальчик, у которого такая сильная воля и такое крепкое слово, не испугается темноты, не испугается хулиганов, не испугается и более страшных вещей.

А когда он вырастет... Ещё неизвестно, кем он будет, когда вырастет, но кем бы он ни был, можно ручаться, что это будет настоящий человек.

Я подумал так, и мне стало очень приятно, что я познакомился с этим мальчиком.

И я ещё раз крепко и с удовольствием пожал ему руку.





НА ЯЛИКЕ

Большая, широкобокая лодка подходила к нашему берегу. Набитая до отказа, сидела она очень низко в воде, шла медленно, одолевая течение, и было видно, как туго и трудно погружаются в воду вёсла и с каким облегчением выскальзывают они из неё, сверкая на солнце и рассыпая вокруг себя тысячи и тысячи брызг.

Я сидел на большом тёплом и шершавом камне у самой воды, и мне было так хорошо, что не хотелось ни двигаться, ни оглядываться, и я даже рад был, что лодка ещё далеко и что, значит, можно ещё несколько минут посидеть и подумать... О чём? Да ни о чём особенно, а только о том, как хорошо сидеть, какое милое небо над головой, как чудесно пахнет водой, ракушками, смолёным деревом...

Я уже давно не был за городом, и всё меня сейчас по-настоящему радовало: и чахлый одуванчик, притаившийся под пыльным зонтиком лопуха, и лёгкий, чуть слышный плеск невской волны, и белая бабочка,

то и дело мелькавшая то тут, то там в ясном и прозрачном воздухе. И разве можно было в эту минуту поверить, что идёт война, что фронт совсем рядом, что он тут вот, за этими крышами и трубами, откуда изо дня в день летят в наш осаждённый город тяжёлые бомбардировщики и дальнобойные бризантные снаряды![1] Нет, я не хотел думать об этом, да и не мог думать — так хорошо мне было в этот солнечный июльский день.

* * *

А на маленькой пристаньке, куда должна была причалить лодка, уже набился народ. Ялик подходил к берегу, и, чтобы не потерять очереди, я тоже прошёл на эти животрепещущие дощатые мостки и смешался с толпой ожидающих. Это были всё женщины, всё больше пожилые работницы. Некоторые из них уже перекликались и переговаривались с теми, кто сидел в лодке. Там тоже были почти одни женщины, а из нашего брата только несколько командиров, один военный моряк да сам перевозчик, человек в неуклюжем брезентовом плаще с капюшоном. Я видел пока только его спину и руки в широких рукавах, которые ловко, хотя и не без натуги, работали вёслами. Лодку относило течением, но всё-таки с каждым взмахом вёсел она всё ближе и ближе подходила к берегу.

— Матвей Капитоныч, поторопись! — закричал кто-то из ожидающих.

Гребец ничего не ответил. Подводя лодку к мосткам, он чуть-чуть повернул голову, и тут я увидел его лицо. Это был мальчик лет одиннадцати-двенадцати, а может быть, и моложе. Лицо у него было худенькое, серьёзное, строгое, тёмное от загара, только бровки были смешные, детские, совершенно выцветшие, белые, да из-под широкого козырька огромной боцманской фуражки с якорем на околыше

[1] Бризантные снаряды — разрывные, осколочные снаряды.

падали на запотевший лоб такие же белобрысые, соломенные, давно не стриженные волосы.

По тому, как тепло и дружно приветствовали его у нас на пристани женщины, было видно, что мальчик не случайно и не в первый раз сидит на вёслах.

— Капитану привет! — зашумели женщины.

— Мотенька, давай сюда! Заждались мы тебя.

— Мотенька, поспеши, опаздываем!

— Матвей Капитоныч, здравствуй!..

— Отойди, не мешай, бабы! — вместо ответа закричал он каким-то хриплым, простуженным баском, и в эту минуту лодка ударилась о стенку причала, качнулась и заскрипела. Мальчик зацепил веслом за кромку мостков, кто-то из военных спрыгнул на пристань и помог ему причалить лодку.

Началась выгрузка пассажиров и посадка новых.

Маленький перевозчик выглядел очень усталым, с лица его катил пот, но он очень спокойно, без всякого раздражения, сурово и повелительно распоряжался посадкой.

— Эй, тётка! — покрикивал он.— Вот ты, с противогазом которая. Садись с левого борта. А ты, с котелком,— туда... Тихо! Осторожно! Без паники. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь...

Он сосчитал, сбился и ещё раз пересчитал, сколько людей в лодке.

— Довольно. Хватит! За остальными после приеду.

Оттолкнувшись веслом от пристани, он подобрал свой брезентовый балахон, уселся и стал собирать двугривенные за перевоз.

Я, помню, дал ему рубль и сказал, что сдачи не надо. Он шмыгнул носом, усмехнулся, отсчитал восемь гривен, подал их мне вместе с квитанцией и сказал:

— Если у вас лишние, так положите их лучше в сберкассу.

Потом пересчитал собранные деньги, вытащил из кармана большой старомодный кожаный кошель, ссыпал туда монеты, защёлкнул кошель, спрятал его

в карман, уселся поудобнее, поплевал на руки и взялся за вёсла.

Большая, тяжёлая лодка, сорвавшись с места, легко и свободно пошла вниз по течению.

* * *

И вот, не успели мы как следует разместиться на своих скамейках, не успел наш ялик отойти и на сотню метров от берега, случилось то, чего, казалось бы, уж никак нельзя было ожидать в этот солнечный, безмятежно спокойный летний день.

Я сидел на корме. Передо мной лежала река, а за нею — Каменный остров, над которым всё выше и выше поднималось утреннее солнце. Густая зелёная грива висела над низким отлогим берегом. Сквозь яркую, свежую листву виднелись отсюда какие-то домики, какая-то беседка с белыми круглыми колоннами, а за ними... Но нет, там ничего не было и не могло быть. Мирная жизнь спокойно, как река, текла на этой цветущей земле. Лёгкий дымок клубился над пёстрыми дачными домиками. Чешуйчатые рыбачьи сети сушились, растянутые на берегу. Белая чайка летала. И было очень тихо. И в лодке у нас тоже почему-то стало тише, только вёсла мерно стучали в уключинах да за бортом так же мерно и неторопливо плескалась вода.

И вдруг в эту счастливую, безмятежную тишину ворвался издалека звук, похожий на отдалённый гром. Лёгким гулом он прошёл по реке. И тотчас же в каждом из нас что-то ёкнуло и привычно насторожилось. А какая-то женщина, правда, не очень испуганно и не очень громко, вскрикнула и сказала:

— Ой, что это, бабоньки?

В эту минуту второй, более сильный удар размашистым отзвуком прокатился по реке. Все посмотрели на мальчика, который — кажется, один во всей лодке — не обратил никакого внимания на этот подозрительный грохот и продолжал спокойно грести.

— Мотенька, что это? — спросили у него.

— Ну что! — сказал он, не поворачивая головы.— Ничего особенного. Зенитки.

Голос у него был какой-то скучный и даже грустный, и я невольно посмотрел на него. Сейчас он показался мне почему-то ещё моложе, в нём было что-то совсем детское, младенческое: уши под большим картузом смешно оттопыривались в стороны, на загорелых щеках проступал лёгкий белый пушок, из-под широкого и жёсткого, как хомут, капюшона торчала тонкая, цыплячья шейка.

А в чистом, безоблачном небе уже бушевала гроза. Теперь уже и мне было ясно, что где-то на подступах, на фортах, а может быть, и ближе, работают наши зенитные установки. Как видно, вражеским самолётам удалось пробиться сквозь первую линию огня, и теперь они уже летели к городу. Канонада усиливалась, приближалась. Всё новые и новые батареи вступали в дело, и скоро отдельные залпы стали неразличимы — обгоняя друг друга, они сливались в один сплошной гул.

— Летит! Летит! Поглядите-ка! — закричали вдруг у нас в лодке.

Я посмотрел и ничего не увидел. Только мягкие, пушистые дымчатые клубочки таяли то тут, то там в ясном и высоком небе. Но сквозь гром зенитного огня я расслышал знакомый прерывистый рокот немецкого мотора. Гребец наш тоже мельком, искоса посмотрел на небо.

— Ага! Разведчик,—сказал он пренебрежительно.

И я даже улыбнулся, как это он быстро, с одного маху, нашёл самолёт и с какой точностью определил, что самолёт этот не какой-нибудь, а именно разведчик. Я хотел было попросить его показать мне, где он увидел этого разведчика, но тут будто огромной кувалдой ударило меня по барабанным перепонкам, я невольно зажмурился, услышал, как закричали женщины, и изо всех сил вцепился в холодный, влажный борт лодки, чтобы не полететь в воду.



...В воду — и спереди и сзади, и справа и слева от лодки — начали падать осколки.

* * *

Это открыли огонь зенитные батареи на Каменном острове. Уж думалось, что дальше некуда: и так уж земля и небо дрожали от этого грома и грохота, а тут вдруг оказалось, что всё это были пустяки, что до сих пор было даже очень тихо и что только теперь-то и началась настоящая музыка воздушного боя.

Ничего не скажу — было страшно. Особенно когда в воду — и спереди и сзади, и справа и слева от лодки — начали падать осколки.

Мне приходилось уже не раз бывать под обстрелом, но всегда это случалось со мной на земле, на суше. Там, если рядом и упадёт осколок, его не видно. А тут, падая с шипением в воду, эти осколки поднимали за собой целые столбы воды. Это было красиво, похоже на то, как играют дельфины в тёплых морях,— но если бы это действительно были дельфины!..

Женщины в нашей лодке уже не кричали. Перепуганные, они сбились в кучу, съёжились, пригнули как можно ниже головы. А некоторые из них даже легли на дно лодки и защищали себя руками, как будто можно рукой уберечь себя от тяжёлого и раскалённого куска металла. Но ведь известно, что в такие минуты человек не умеет рассуждать. Признаться, мне тоже хотелось нагнуться, зажмуриться, спрятать голову.

Но я не мог сделать этого.

Передо мной сидел мальчик. Ни на один миг он не оставил вёсел. Так же уверенно и легко вёл он своё маленькое судно, и на лице его я не мог прочесть ни страха, ни волнения. Он только посматривал изредка то направо, то налево, то на небо, потом переводил взгляд на своих пассажиров — и усмехался. Да, усмехался. Мне даже стыдно стало, я даже покраснел, когда увидел эту улыбку на его губах.

«Неужели он не боится? — подумал я.— Неужели ему не страшно? Неужто не хочется ему бросить вёс-

ла, зажмуриться, спрятаться под скамейку?.. А впрочем, ведь он ещё маленький,— подумалось мне.— Он ещё не понимает, что такое смерть, поэтому небось и улыбается так беспечно и снисходительно».

Канонада ещё не кончилась, когда мы пристали к берегу. Не нужно было никого подгонять. Через полминуты лодка была уже пустая. Под дождём осколков, совсем как это бывает под настоящим проливным дождём, женщины бежали на берег и прятались под густыми шапками приземистых дубков и столетних лип.

Я вышел из лодки последним. Мальчик возился у причала, затягивая какой-то сложный морской узел.

— Послушай! — сказал я ему.— Чего ты копаешься тут? Ведь, посмотри, осколки летят...

— Чего? — переспросил он, подняв на секунду голову и посмотрев на меня не очень любезно.

— Я говорю: храбрый ты, как я погляжу... Ведь страшно всё-таки. Неужели ты не боишься?

В это время тяжёлый осколок с тупым звоном ударился о самую кромку мостков.

— А ну, проходите! — закричал на меня мальчик.— Нечего тут...

— Ишь ты какой! — сказал я с усмешкой и зашагал к берегу.

Я был обижен и решил, что не стоит и думать об этом глупом мальчишке. Но, выйдя на дорогу, я всё-таки не выдержал и оглянулся. Мальчика на пристани уже не было. Я поискал его глазами. Он стоял на берегу, под навесом какого-то склада или сарая. Вёсла свои он тоже притащил сюда и поставил рядом.

«Ага! — подумал я с некоторым злорадством.— Всё-таки, значит, немножко побаиваешься, голубчик!»

Но, по правде сказать, мне всё ещё было немножко стыдно, что маленький мальчик оказался храбрее меня. Может быть, поэтому я не стал прятаться под деревьями, а сразу свернул на боковую дорожку и отправился разыскивать Н-скую зенитную батарею.

* * *

Дела, которые привели меня на Каменный остров, к зенитчикам, отняли у меня часа полтора-два. Обратно в город меня обещали «подкинуть» на штабной машине, прибытия которой ожидали с минуты на минуту.

В ожидании машины от нечего делать я беседовал с командиром батареи о всякой всячине и, между прочим, рассказал о том, как сложно я к ним добирался, и о том, как наш ялик попал в осколочный дождь.

Командир батареи, пожилой застенчивый лейтенант из запасных, почему-то вдруг очень смутился и даже покраснел.

— Да-да...— сказал он, вытирая платком лицо.— К сожалению, наши снаряды летают не только вверх, но и вниз. Но что ж поделаешь! Это как раз те щепки, которые летят, когда лес рубят. Но всё-таки неприятно. Очень неприятно! Ведь бывают жертвы, свои люди гибнут. Вот как раз недели три назад тут перевозчика осколком убило.

Я, помню, даже вздрогнул, когда услышал это.

— Как — перевозчика? — сказал я.— Какого?

— Да вот тут как раз, на Неве, где вы переезжали. Хороший человек был. Сорок два года работал на перевозе. И отец у него, говорят, тоже на яликах подвизался. И дед.

— А сейчас там какой-то мальчик,— сказал я.

— Ха! — улыбнулся лейтенант.— Ну как же! Мотя! Матвей Капитоныч! «Адмирал Нахимов» мы его зовём. Это сынишка того перевозчика, который погиб.

— Как! — сказал я.— Того самого, который от осколка?..

— Ну да, именно. Того Капитон звали, а этого Матвей Капитонович. Тоже матрос бывалый. Лет ему — не сосчитать как мало, а работает — сами видели: со взрослыми потягаться может. И притом, что бы ни было, всегда на посту: и днём и ночью, и в дождь и в бурю...

— И под осколками,— сказал я.

— Да, и под осколками. Этого уж тут не избежишь! Осколочные осадки выпадают у нас, пожалуй, почаще, чем обычные, метеорологические...

Лейтенант мне ещё что-то говорил, что-то рассказывал, но я плохо слушал его. Почему-то мне вдруг страшно захотелось ещё раз увидеть Мотю.

— Послушайте, товарищ лейтенант,— сказал я поднимаясь.— Знаете, что-то ваша машина застряла. А у меня времени в обрез. Я, пожалуй, пойду.

— А ка́к же вы? — удивился лейтенант.

— Ну что ж,— сказал я.— Придётся опять на ялике.

* * *

Когда я пришёл к перевозу, ялик ещё только-только отваливал от противоположного берега. Опять он был переполнен пассажирами, и опять низкие бортики его еле-еле выглядывали из воды, но так же легко, спокойно и уверенно работали вёсла и вели его наискось по течению, поблёскивая на солнце и оставляя в воздухе светлую радужную пыль. А солнце стояло уже высоко, припекало, и было очень тихо, даже как-то особенно тихо, как всегда бывает летом после хорошего, проливного дождя.

На пристани ещё никого не было, я сидел один на скамеечке, поглядывая на воду и на приближающуюся лодку, и на этот раз мне уже не хотелось, чтобы она шла подольше — наоборот, я ждал её с нетерпением. А лодка как будто чуяла это моё желание — шла очень быстро, и скоро в толпе пассажиров я уже мог разглядеть белый парусиновый балахон и боцманскую фуражку гребца. «И днём и ночью, и в дождь и в бурю»,— вспомнил я слова лейтенанта.

И вдруг я очень живо и очень ясно представил себе, как здесь вот, на этом самом месте, в такой же, наверно, погожий, солнечный денёк, на этой же самой лодке, с этими же вёслами в руках, погиб на своём рабочем посту отец этого мальчика. Я отчётливо пред-

ставил во всех подробностях, как это случилось. Как привезли старого перевозчика к берегу, как выбежали навстречу его жена и дети — и вот этот мальчик тоже,— и какое это было горе, и как страшно стало, как потемнело у мальчика в глазах, когда какая-то чужая старуха всхлипнула, перекрестилась и сказала:

«Царство небесное. Помер...»

И вот не прошло и месяца, а этот мальчик сидит на этой лодке и работает теми же вёслами, которые выпали тогда из рук его отца.

«Как же он может? — подумал я.— Как может этот маленький человек держать в руках эти страшные вёсла? Как может он спокойно сидеть на скамейке, на которой ещё небось не высохла кровь его отца? Ведь, казалось бы, он на всю жизнь должен был проникнуться смертельным ужасом и к этой заклятой работе, и к этой лодке, и к вёслам, и к чёрной невской воде. Даже отдалённый орудийный выстрел должен был пугать его и холодить жестокой тоской его маленькое сердце. А ведь он улыбался. Вы подумайте только — он улыбался давеча, когда земля и небо дрожали от залпов зенитных орудий!..»

Но тут мои размышления были прерваны. Весёлый женский голос звонко и раскатисто, на всю реку, прокричал за моей спиной:

— Матвей Капитоныч, поторопи-ись!..

Пока я сидел и раздумывал, на пристани уже скопилась порядочная толпа ожидающих. Опять тут было очень много женщин-работниц, было несколько военных, две или три девушки-дружинницы и молодой военный врач.

Лодка уже подходила к мосткам. Повторилось то же, что было давеча на том берегу. Ялик ударился о стенку причала, закачался и заскрипел. Женщины и на берегу и в лодке загалдели, началась посадка, и мальчик, стоя в лодке и придерживаясь веслом за бортик мостков, не повышая голоса, серьёзно и деловито командовал своими пассажирами. Мне показа-

лось, что за эти два часа он ещё больше осунулся и похудел. Тёмное от загара и от усталости лицо его блестело, он тяжело дышал. Балахон свой он расстегнул, распахнул ворот рубашки, и оттуда выглядывала светлая полоска незагорелой кожи.

Когда я входил в лодку, он посмотрел на меня, улыбнулся, показав маленькие белые зубы, и сказал:

— Что? Уж обратно?

— Да. Обратно,— ответил я и почему-то очень обрадовался — и тому, что он меня узнал, и тому, что заговорил со мной и даже улыбнулся мне.

Усаживаясь, я постарался занять место поближе к нему. Это удалось мне. Правда, пришлось кого-то не очень вежливо оттолкнуть, но, когда мальчик сел на своё капитанское место, оказалось, что мы сидим лицом к лицу.

Выполнив обязанности кассира, собрав двугривенные, пересчитав их и спрятав, Мотя взялся за вёсла.

— Только не шуметь, бабы! — строго прикрикнул он на своих пассажирок.

Те слегка притихли, а мальчик уселся поудобнее, поплевал на руки, и вёсла размеренно заскрипели в уключинах, и вода так же размеренно заплескалась за бортом.

Мне очень хотелось заговорить с мальчиком. Но, сам не знаю почему, я немножко робел и не находил, с чего начать разговор. Улыбаясь, я смотрел на его серьёзное, сосредоточенное лицо и на смешные детские бровки, на которых поблёскивали редкие светлые волосики. Внезапно он взглянул на меня, поймал мою улыбку и сказал:

— Вы чего смеётесь?

— Я не смеюсь,— сказал я немножко даже испуганно.— С чего ты взял, что я смеюсь? Просто я любуюсь, как ты ловко работаешь.

— Как это — ловко? Обыкновенно работаю.

— Ого! — сказал я, покачав головой.— А ты, адмирал Нахимов, я погляжу, дядя сердитый...

Он опять, но на этот раз, как мне показалось, с некоторым любопытством, взглянул на меня и сказал:

— А вы откуда знаете, что я—адмирал Нахимов?

— Ну, мало ли! Слухом земля полнится.

— Что́, на батареях были?

— Да, на батареях.

— А!.. Тогда понятно.

— Что тебе понятно?

Он помолчал, как бы раздумывая, стоит ли вообще рассусоливать со мной, и наконец ответил:

— Командиры меня так дразнят: адмиралом. Я ведь их тут всех обслуживаю: и зенитчиков, и лётчиков, и моряков, и из госпиталей которые...

— Да, брат, работки у тебя, как видно, хватает,— сказал я.— Устаёшь здо́рово небось? А?

Он ничего не сказал, только пожал плечами. Что работки ему хватает и что устаёт он зверски, было и без того видно. Лодка опять шла наперекор течению, и вёсла с трудом, как в густую чёрную глину, погружались в воду.

— Послушай, Матвей Капитоныч,— сказал я помолчав,— скажи, пожалуйста, откровенно, по совести: неужто тебе давеча не страшно было?

— Это когда? Где? — удивился он.

— Ну, давеча, когда зенитки работали.

Он усмехнулся и с каким-то не то что удивлением, а, пожалуй, даже с сожалением посмотрел на меня.

— Вы бы ночью сегодня поглядели, что́ было. Вот это да! — сказал он.

— А разве ты ночью тоже работал?

— Я дежурил. У нас тут на Деревообделочном он зажигалок набросал целый воз. Так мы тушили.

— Кто «мы»?

— Ну кто? Ребята.

— Так ты что — и не спал сегодня?

— Нет, спал немного.

— А ведь у вас тут частенько это бывает.

— Что? Бомбёжки-то? Конечно, часто. У нас тут

вокруг — батареи. Осколки как начнут сыпаться, только беги.

— Да,— сказал я.— А ты вот, я вижу, всё-таки не бежишь.

— А мне бежать некуда,— сказал он, усмехнувшись.

— Ну, а ведь честно-то, по совести — боязно всё-таки?

Он опять подумал и как-то очень хорошо, просто и спокойно сказал:

— Бойся не бойся, а уж если попадёт, так попадёт. Легче ведь не будет, если бояться?

— Это конечно,— улыбнулся я.— Легче не будет.

Мне всё хотелось задать ему один вопрос, но как-то язык не поворачивался. Наконец я решился:

— А что, Мотя, это правда, что у тебя тут недавно отец погиб?

Мне показалось, что на одно мгновение вёсла дрогнули в его руках.

— Ага,— сказал он хрипло и отвернулся в сторону.

— Его что — осколком?

— Да.

— Вот видишь...

Я не договорил. Но, как видно, он понял, о чём я хотел сказать.

Целую минуту он молчал, налегая на вёсла. Потом, так же не глядя на меня, а куда-то в сторону, хриплым, басовитым и, как мне показалось, даже не своим голосом сказал:

— Воды бояться — в море не бывать.

— Хорошо сказано! Ну, а всё-таки разве ты об этом не думал? Если и тебя этак же?

— Что — меня?

— Осколком.

— Тьфу, тьфу! — сказал он, сердито посмотрев на меня, и как-то лихо и замысловато, как старый, бывалый матрос, плюнул через левое плечо.

Потом, заметив, что я улыбаюсь, не выдержал, сам улыбнулся и сказал:

— Ну что ж! Конечно, могут. Всякое бывает. Могут и убить. Тогда что ж... Тогда, значит, придётся Маньке за вёсла садиться.

— Какой Маньке?

— Ну какой! Сестрёнке. Она, вы не думайте,— она хоть и маленькая, а силы-то у неё побольше, чем у другого пацана́. На спинке Неву переплывает туда и обратно.

Беседуя со мной, Мотя ни на одну минуту не оставлял управления лодкой. Она уже миновала середину реки и теперь, относимая течением в сторону, шла наискось к правому, высокому берегу. А там уже поблёскивали кое-где стёкла в сереньких дощатых домиках, из-за дранковых, толевых и железных крыш выглядывали чахлые, пыльные деревца, а над ними без конца и без края расстилалось бесцветное бледно-голубое, как бы разбавленное молоком, северное небо.

И опять на маленькой пристани уже толпился народ, уже слышен был шум голосов и уже кто-то кричал что-то и махал нам рукой.

— Мотя-а-а! — расслышал я и, вглядевшись, увидел, что кричит это маленькая девочка в белом платочке и в каком-то бесцветном, длинном, как у цыганки, платье.

— Мотя-а-а! — кричала она, надрываясь и чуть ли не со слезами в голосе.— Живей! Чего ты копаешься там?..

Мотя и головы не повернул. Только подводя лодку к мосткам, он поглядел на девочку и спокойно сказал:

— Чего орёшь?

Девочка была действительно совсем маленькая, босая, с таким же, как у Моти, загорелым лицом и с такими же смешными выцветшими, белёсыми бровками.



— Обедать иди! — загорячилась она.— Мама ждёт, ждёт!.. Уж горох весь выкипел.

И в лодке и на пристани засмеялись. А Мотя неторопливо причалил ялик, дождался, пока сойдут на берег все пассажиры, и только тогда повернулся к девочке и ответил ей:

— Ладно. Иду. Принимай вахту.

— Это что? — спросил я у него.— Это Манька и есть?

— Ага. Манька и есть. Вот она у нас какая! — улыбнулся он, и в голосе его я услышал не только очень тёплую нежность, но и настоящую гордость.

— Славная девочка,— сказал я и хотел сказать ещё что-то.

Но славная девочка так дерзко и сердито на меня

посмотрела и так ужасно сморщила при этом свой маленький загорелый, облупившийся нос, что я проглотил все слова, какие вертелись у меня на языке. А она шмыгнула носом, повернулась на босой ноге и, подобрав подол своего цыганского платья, ловко прыгнула в лодку.

— Эй, бабы, бабы!.. Не шуметь! Без паники! — закричала она хриплым, простуженным баском, совсем как Мотя.

«И, наверно, совсем как покойный отец»,— подумалось мне.

Я попрощался с Мотей, протянул ему руку.

— Ладно. До свиданьица,— сказал он не очень внимательно и подал мне свою маленькую, крепкую, шершавую и мозолистую руку.

Поднявшись по лесенке наверх, на набережную, я оглянулся.

Мотя в своём длинном и широком балахоне и в огромных рыбацких сапогах, удаляясь от пристани, шёл уже по узенькой песчаной отмели, слегка наклонив голову и по-матросски покачиваясь на ходу.

А ялик уже отчалил от берега. Маленькая девочка сидела на вёслах, ловко работала ими, и вёсла в её руках весело поблёскивали на солнце и рассыпали вокруг себя тысячи и тысячи брызг.





ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

Лейтенант Фридрих Буш, лётчик германской разведывательной авиации, и новодеревенский школьник Лёша Михайлов в один и то же день получили награды: лейтенант Буш — Железный крест, а Лёша Михайлов — медаль «За оборону Ленинграда». Как сказано было в приказе германского командования, лётчик Буш представлялся к награде «за отличную разведывательную деятельность над позициями противника у Ленинграда, в результате чего были обнаружены и уничтожены двенадцать зенитных установок русских». А Лёша Михайлов получил медаль как раз за то, что помог немецким самолётам обнаружить эти двенадцать батарей.

Вы, я вижу, удивлены. У вас глаза на лоб полезли. Вы думаете небось, что это ошибка или опечатка. Что ж, выходит, значит, что Лёша Михайлов — преда-

тель? Почему же тогда он получил советскую награду, а не какой-нибудь тоже медный или оловянный немецкий крест?

А между тем никакой ошибки тут нет. Лёша Михайлов получил свою награду по заслугам. А вот за что получил её лейтенант Фридрих Буш — это дело тёмное. Хотя, если разобраться, может быть, он и в самом деле неплохо выполнил свою боевую задачу. Ведь он действительно обнаружил на подступах к Ленинграду двенадцать зенитных батарей. Правда, без помощи Лёши Михайлова и других ребят он бы чёрта с два обнаружил. А хотя...

Ну да, впрочем, так вы всё равно ничего не поймёте. Надо всё рассказать по порядку.

* * *

Лёша Михайлов жил, как я уже сказал, в Новой Деревне. Около их дома, за огородами, был пруд. На том берегу пруда в небольшой рощице стояла зенитная батарея. Почти каждую ночь, когда с финской стороны летели на Ленинград немецкие бомбардировщики, батарея открывала огонь. Конечно, не одна батарея: их там вокруг было много. От этого огня в михайловском доме, как и в других, соседних, домах, давно уже не осталось ни одного стекла — окна были заколочены досками или фанерой или заткнуты подушками. Зато уж и фашистам, конечно, тоже доставалось от этого огня!

Батарея была хорошо замаскирована. В обычное время, когда она помалкивала, не работала, её не только с воздуха, но и с земли не разглядеть было. Но, конечно, это только взрослые не могли разглядеть. А от ребят разве что-нибудь скроешь? Ребята ещё давно, ещё в самом начале войны, когда только появилась у них эта батарея, всё, что им нужно было, разнюхали, разведали и знали теперь батарею, наверно, не хуже самих зенитчиков. Знали и сколько там орудий, и какого они калибра, и сколько у орудий

прислуги, и кто командир, и где снаряды лежат, и как заряжают, и как стреляют, и как команду подают.

Работала батарея только по ночам. Наутро после налёта бомбардировщиков почти всякий раз прилетал в деревню маленький, лёгкий, похожий на стрекозу немецкий самолёт-разведчик «Хеншель-126». Иногда он по полчаса и больше кружил над деревней, выискивая и вынюхивая расположение русских зениток.

Но батареи молчали. И «Хеншель-126», повертевшись и покружившись, не солоно хлебавши улетал восвояси.

Сначала ребята удивлялись:

— Чего ж они не стреляют? Ведь он же прямо совсем на куриной высоте летит! Его с одного выстрела подбить можно!..

Один раз они даже не выдержали и закричали через колючую проволоку командиру батареи, который в это время как раз разглядывал в бинокль вражеского разведчика:

— Товарищ старший лейтенант! Чего же вы смотрите? Хлопните его из второго орудия! В самый раз будет.

Командир оторвался от бинокля и с удивлением посмотрел на ребят.

— Это что такое? — крикнул он строго.— Вы как сюда попали?!

Ребята переглянулись, а Лёша за всех ответил:

— Мы так... потихоньку... Замаскировались.

— Ах, вот как! Замаскировались? Ну, так и я вот тоже маскируюсь. Понятно?

— Ага. Понятно,— сказал, подумав, Лёша.— Чтобы, значит, не обнаружили и не засекли?

— Во-во! — сказал командир.— А вообще — вон отсюда! Разве не знаете, что сюда нельзя ходить?

— Знаем,— ответили ребята.— Да мы не ходим, мы ползаем.

— Ну и ползите обратно.

Дня через три вечером на батарее была объявлена

боевая тревога. Не успел отзвенеть сигнал, как ребята уже сидели на своём обычном месте — в кустах на берегу пруда. Кто-то из батарейцев их заметил и сказал командиру.

— Ах, вот как! — закричал командир, узнав Лёшу Михайлова.— Опять это ты? Ну погоди, попадись ты мне!

Лёша и товарищи его убежали, но и после, конечно, подглядывали за батарейцами, только стали немного осторожнее.

А в ноябре, перед самыми праздниками, случилась эта самая история, за которую Лёша Михайлов с товарищами чуть не угодили в трибунал.

Ну да, впрочем, не будем забегать вперёд. Будем и дальше рассказывать по порядку.

* * *

Выдался как-то очень хороший зимний денёк. Снегу насыпало — ни пройти, ни проехать. После школы выбежали ребята на улицу гулять. Стали играть в снежки. Поиграли немного — надоело. Кто-то предложил: «Давайте лепить снежную бабу». А Лёша Михайлов подумал и говорит:

— Нет, ребята, давайте лучше не бабу, а давайте — знаете что? — построим снежную крепость. Или батарею зенитную? С блиндажом и со всем, что полагается.

Затея ребятам понравилась, и вот на пруду, за михайловскими огородами, по соседству с настоящей зенитной батареей началось строительство игрушечной, снежной и ледяной, огневой точки.

Работали ребята весь день — до вечера. Катали снежные комья, возводили стены, брустверы, орудийные площадки... И получилось у них здóрово. Всё как настоящее. Даже пушку соорудили, и пушка у них была не какая-нибудь, а самая всамделишная — зенитная, из какого-то старого дышла или оглобли, и даже вертелась, и можно было из неё прицеливаться.



— По фашистским стервятникам — огонь! — скомандовал Лёша.

Это было в субботу. На следующий день ребята с утра достраивали свою крепость, когда над их головами в безоблачном зимнем небе появился старый знакомый — «Хеншель-126». На этот раз он прилетел очень кстати. Играть стало ещё интереснее.

— Воздух! — закричал Коська Мухин, маленький, веснушчатый паренёк, по прозвищу «Муха».

— Тревога! — закричал Лёша Михайлов. — Товарищи бойцы, по местам!

Он первый подбежал к игрушечной пушке и стал наводить её на настоящий вражеский самолёт.

— По фашистским стервятникам — огонь! — скомандовал он и сам ответил за свою пушку: — Бах! Бах!

— Бам-ба-ра-ра-ах! — хором подхватили ребята.

А разведчик, как всегда, повертелся, покрутился и, стрекоча своим стрекозиным моторчиком, улетел в сторону фронта.

Ребята ещё немного поиграли, потом разошлись.

Лёшу Михайлова позвали домой обедать. Он с удовольствием уплетал мятый варёный картофель с соевым маслом и уже собирался попросить у матери добавочки и даже протянул для этого миску, как вдруг миска вылетела у него из рук. Оглушительный удар, а за ним второй и третий прогремели, как ему показалось, над самой его головой. Стены михайловского дома заходили ходуном, посыпалась штукатурка, на кухне что-то упало и со звоном покатилось. Лёшина сестрёнка Вера диким голосом закричала и заплакала. За нею заплакала и Лёшина бабушка.

— Бомбят! Бомбят! — кричал кто-то на улице.

Там уже работали зенитки, стучал пулемёт, и где-то высоко в небе глухо гудели моторы немецких пикировщиков.

— А ну, живо лезьте в подполье! — скомандовала Лёшина мать, отодвигая стол и поднимая тяжёлую крышку люка.

Бабушка, а за нею Лёшины сёстры и младший

брат полезли в подвал, а сам Лёша, пользуясь суматохой, сорвал со стены шапку и юркнул в сени.

Во дворе он чуть не столкнулся с Коськой Мухиным. Муха едва дышал, лицо у него было бледное, губы дрожали.

— Ой, Лёшка! — забормотал он, испуганно оглядываясь.— Ты знаешь... беда какая...

— Что? Какая беда?

Муха не мог отдышаться:

— Ты знаешь, ведь это... ведь это ж нашу батарею сейчас бомбили.

— Ну да! Не ври! — сказал, побледнев, Лёша.

— Ей-богу, своими глазами видел. Две бомбы... прямое попадание... и обе в нашу батарею. Одни щепочки остались.

— Сам видел, говоришь?

— Говорю ж тебе: своими глазами видел. Мы с Валькой Вдовиным за водой ходили, увидали — и сразу туда. Я убежал, а он...

— Что?! — закричал Лёша и с силой схватил товарища за плечо.

— Его... его на батарею увели. На настоящую,— сказал Муха и, опустив голову, заплакал.

* * *

Немецкие самолёты разбомбили игрушечную крепость и улетели. На батареях прозвучал отбой воздушной тревоги, понемногу успокоилось всё и в самой деревне, а Валька Вдовин всё ещё не возвращался домой.

Лёша Михайлов несколько раз бегал к Валькиной матери. Он успокаивал её, говорил, что видел Вальку «своими глазами», что он жив, что его пригласили в гости зенитчики и, наверно, угощают его там чаем или галетами.

Но сам Лёша не мог успокоиться.

«Ведь это ж я виноват,— думал он.— Это я всё выдумал — с этой дурацкой крепостью. А Валька

даже не строил её. Он только сегодня утром из Ленинграда приехал...»

Он уже собирался пойти на батарею и сказать, что это он виноват, а не Валька, когда в дверь постучали и в комнату ввалился сам Валька Вдовин.

— Ага, ты дома? — сказал он, останавливаясь в дверях.

— Дома, дома! Заходи! — обрадовался Лёша.

— Да нет... я на минутку... я не буду,— пробормотал Валька.— Кто-нибудь у вас есть?

— Нет, никого нет. Бабушка спит, а мама в очередь ушла. Заходи, не бойся.

— Лёшка,— сказал Вдовин, не глядя на Лёшу.— Тебя, наверно, в трибунал отправят. Судить будут.

— Меня? — сказал Лёша.— А откуда ж узнали, что это я?

— Откуда узнали? А это я на тебя сказал.

— Ты?!

— Да, я,— повторил Валька и посмотрел Лёше в глаза.— Я сначала отпирался. Говорю: «Знать ничего не знаю». А потом командир батареи говорит: «Это, наверно, такой чернявенький, с полосатым шарфом... Михайлов его, кажется, зовут?» Ну, я и сказал: «Да, Михайлов». И адрес твой спросили — я тоже сказал.

Лёша стоял, опустив голову.

— Так,— выговорил он наконец.— Значит, и адрес сказал?

— Да. И адрес сказал.

— Ну и правильно,— сказал Лёша.— Я бы всё равно сам пошёл на батарею. Я уже собирался даже.

— Значит, ты не сердишься?

— Чудак! Нет, конечно.

Валька схватил его за руку.

— Знаешь что? — сказал он.— А может быть, тебе убежать лучше?

— И не подумаю,— сказал Лёша.

Потом он взглянул на Вальку, не выдержал и тяжело вздохнул.

— Как ты думаешь — расстреляют? — сказал он.

Валька, подумав немного, пожал плечами.

— Может быть, и не расстреляют,— ответил он не очень уверенно.

* * *

До вечера Лёша Михайлов ходил сам не свой. Приходили ребята, звали его гулять — он не пошёл. Уроков он не учил, отказался от ужина и раньше, чем обычно, улёгся спать. Но, как ни старался, как ни ворочался с одного бока на другой, заснуть он не мог. Не то чтобы он очень боялся чего-нибудь. Нет, Лёша был, как говорится, не из трусливого десятка. Но всё-таки, как вы сами понимаете, положение у него было невесёлое. Тем более, что он чувствовал себя действительно виноватым. А мысль о том, что судить его будут в военном трибунале, как какого-нибудь шпиона или предателя, совсем убивала его.

«Может быть, и в самом деле лучше убежать,— думал он.— Проберусь как-нибудь на фронт или к партизанам, навру чего-нибудь, скажу, что мне скоро тринадцать лет будет,— может, меня и возьмут. Пойду куда-нибудь в разведку и погибну... как полагается... а после в газетах напишут или, может быть, объявят Героем Советского Союза...»

Но убежать Лёша не успел.

Перед самым рассветом он забылся и задремал. А в половине восьмого, раньше, чем обычно, его разбудила мать.

— Лёша! Лёшенька! — говорила она испуганным голосом.— Проснись, сыночек!

— Чего? — забормотал Лёша, дрыгая спросонок ногой.

— Вставай скорее! За тобой приехали, тебя спрашивают.

Лёша одним махом сбросил с себя одеяло и сел в постели.

— Приехали? Из трибунала? — сказал он.

— Из какого трибунала? Не знаю... военный какой-то приехал. На мотоциклетке.

«Эх, не успел убежать!» —подумал Лёша.

Застёгивая на ходу рубашку и затягивая ремешок на животе, он вышел на кухню.

У печки стоял высокий красноармеец в полушубке и в кожаном шофёрском шлеме. Он сушил перед печкой свои меховые рукавицы. От них шёл пар.

Увидев Лёшу, красноармеец как будто слегка удивился: наверно, он думал, что Лёша немного постарше.

— Михайлов Алексей — это вы будете? — сказал он.

— Я,— сказал Лёша.

— Одевайтесь. Я за вами. Вот у меня повестка на вас.

— Ой, батюшки светы, куда это вы его? — испугалась Лёшина мать.

— А это, мамаша, военная тайна,— усмехнулся красноармеец.— Если вызывают, значит, заслужил.

У Лёши не попадали в рукава руки, когда он натягивал своё пальтишко. Мать хотела ему помочь. Он отстранил её.

— Ладно, мама. Оставь. Я сам,— сказал он и почувствовал, что зубы у него всё-таки слегка стучат и голос дрожит.

— Взять с собой что-нибудь можно? Или не надо? — спросил он, посмотрев на красноармейца.

Тот опять усмехнулся и ничего не сказал, а только покачал головой.

— Поехали,— сказал он, надевая свои меховые перчатки.

Лёша попрощался с матерью и пошёл к выходу.

На улице у ворот стоял ярко-красный трофейный мотоцикл с приставной коляской-лодочкой.

Ещё вчера утром с каким удовольствием, с каким фасоном прокатился бы Лёша Михайлов на виду у всей деревни в этой шикарной трёхколёсной машине! А сейчас он с трудом, еле волоча ноги, забрался в ко-

ляску и сразу же поднял воротник и спрятал лицо: ещё, не дай бог, увидит кто-нибудь из соседей...

Красноармеец сел рядом, в седло, и одним ударом ноги завёл мотор. Мотоцикл задрожал, зафукал, застучал и, сорвавшись с места, помчался, взметая снежные хлопья и подпрыгивая на ухабах, по знакомой деревенской улице.

* * *

Ехали они очень недолго. Лёша и оглянуться не успел, как машина застопорила и остановилась у ворот двухэтажного каменного дома. У ворот стоял часовой.

Лёша огляделся и узнал этот дом. Когда-то здесь был детский сад.

«Это на Островах,— сообразил он.— Вот он, оказывается, где трибунал-то помещается...»

— Вылезай, Алексей Михайлов. Пошли,— сказал ему красноармеец.

«Ох, только бы не заплакать!» — подумал Лёша, вылезая из кабинки и направляясь к воротам.

Часовой попросил у них пропуск.

— К полковнику Шмелёву,— сказал Лёшин сопровождающий и показал повестку.

Часовой открыл калитку и пропустил их.

В большой накуренной комнате, где когда-то помещалась, наверно, столовая детского сада, было сейчас очень много военных. Были тут и лётчики, и зенитчики, и моряки береговой обороны. Были и красноармейцы и офицеры. Кто сидел, кто стоял, прислонившись к стене, кто расхаживал по комнате.

— Погоди минутку, я сейчас,— сказал Лёше его спутник и скрылся за большой белой дверью.

Через минуту он вернулся.

— Посиди, тебя вызовут,— сказал он и ушёл.

Лёша присел на краешке скамейки и стал ждать.

Вдруг белая дверь открылась, и из неё вышел Лёшин знакомый — тот самый старший лейтенант,

командир новодеревенской батареи. Он увидел Лёшу, узнал его, но ничего не сказал, нахмурился и пошёл к выходу.

А Лёша даже привстал от волнения. Он даже не сразу расслышал, что его зовут.

— Михайлов! Михайлов! Кто Михайлов? — говорили вокруг.

— Я Михайлов! — закричал Лёша.

— Что ж ты не откликаешься? — сердито сказал ему молоденький лейтенант в блестящих, как зеркало, сапогах. Он стоял в дверях с какими-то папками и списками и уже целую минуту выкликал Лёшину фамилию.— Пройдите к полковнику,— сказал он, открывая белую дверь.

«Только бы не заплакать!» — ещё раз подумал Лёша и, стараясь держаться прямо, по-военному, шагнул через порог.

* * *

Пожилой, стриженный ёжиком полковник сидел за большим столом и перелистывал какие-то бумаги.

— Михайлов? — спросил он, не глядя на Лёшу.

— Да,— ответил Лёша.

Полковник поднял глаза и тоже как будто удивился, что Лёша такой маленький и тщедушный.

— Н-да,— сказал он, разглядывая его из-под густых и мохнатых, как у медведя, бровей.— Вот ты какой, оказывается! А ну-ка, подойди ближе.

Лёша подошёл к столу. Полковник смотрел на него строго, и седые медвежьи брови его всё ближе и ближе сдвигались к переносице.

— Так, значит, это ты построил снежную крепость, или блиндаж, или что там... которую давеча разбомбили «мессеры»?

— Да... я,— прохрипел Лёша и почувствовал, что ещё минута — и слёзы помешают ему говорить.— Только ведь мы не нарочно, товарищ полковник,—

прибавил он, стараясь глядеть полковнику прямо в глаза.— Мы ведь играли...

— Ах, вот как? Играли?

— Ага,— прошептал Лёша.

— Кто это «мы»?

— Ну кто? Ребята, одним словом.

— А кто зачинщик? Кто выдумал всё это? Под чьим руководством строили?

— Я выдумал. Под моим,— ответил Лёша, опуская голову. И тут он не выдержал — слёзы прорвались оттуда, где они до сих пор прятались, и заклокотали у него в горле.— Товарищ полковник... пожалуйста... простите меня,— пролепетал он.— Я больше не буду...

— Это что — не будешь?

— Играть не буду.

— Вот тебе и на! — усмехнулся полковник.— Как же это можно — не играть?

— Ну... вообще, блиндажей не буду строить.

— Не будешь? Самым серьёзным образом не будешь?

— Самым серьёзным. Вот ей-богу! Хоть провалиться! — сказал Лёша.

— Н-да,— сказал полковник.— Ну, а если мы тебя попросим?

— Что попросите?

— Да вот что-нибудь ещё построить — в этом же роде. Крепость, или блиндаж, или дзот какой-нибудь...

Лёша поднял глаза. Полковник смотрел на него по-прежнему серьёзно, не улыбаясь, только брови его разошлись от переносицы и под ними открылись ясные, немного усталые и воспалённые от долгой бессонницы глаза.

— Видишь ли, дорогой товарищ, какая история,— сказал он.— Оказывается, что в военное время даже играть надо осторожно. Вот построили вы, например, батарею. Отлично, вероятно, построили, если немец её за настоящую принял. Но построили вы её где?

Рядом с настоящей, боевой, действующей зенитной батареей. Это тебе известно?

— Известно, да,—чуть слышно проговорил Лёша.

— А ведь рядом не только батарея: тут и невоенные объекты — жилые дома, живые люди...

— Товарищ полковник! — чуть не плача, перебил его Лёша.— Да разве ж я не понимаю?!

— Понимаешь, да поздно,— строго сказал полковник.— Задним умом живёшь.

— Правильно. Задним,— вздохнув, согласился Лёша.

— А между тем,— продолжал полковник,— такие фальшивые, что ли, сооружения, как ваша крепость, нам, военным людям, очень и очень нужны. Они называются у нас ложными объектами. Чтобы замаскировать настоящий объект, отвести противнику глаза и натянуть ему нос, где-нибудь в стороне строятся поддельные, декоративные, похожие на настоящие и всё-таки не настоящие укрепления и сооружения: блиндажи, окопы, ангары, огневые точки, батареи — и всё, чего, одним словом, душа пожелает.

Лёша давно уже проглотил слёзы и слушал полковника с таким вниманием, что даже рот открыл.

— Понятно тебе? — сказал полковник.

— Ага. Понятно,— кивнул Лёша.

— Так вот, товарищ Михайлов, не согласитесь ли вы построить нам штучек пять-шесть таких ложных объектов?

— Это кто? Это я? — чуть не закричал Лёша.

— Да. В общем, ты и товарищи твои.

Лёша смотрел на полковника и не понимал, шутит он или нет.

— А из чего строить? Из снега? — сказал он.

— А это уж как вам хочется. Лучше всего из снега, конечно. Во-первых, материал дешёвый. А во-вторых, кто же лучше ребят со снегом умеет работать!

— Точно! — согласился Лёша.

— Ну, так как же? — сказал полковник.



— Ну что ж,— ответил Лёша, для важности почесав в затылке.— Можно, конечно... Только вот боюсь, что, пожалуй...

— Что ещё за «пожалуй»?

— Оглобель, боюсь, не хватит.

— Каких оглобель?

— Ну, которые вместо пушек. У нас ведь понарошку было: зенитки у нас не было, так мы оглоблю вместо неё...

— Понятно,— сказал полковник.— Ну что ж, товарищ Михайлов, оглобель уж мы вам как-нибудь раздобудем. За оглоблями дело не станет.

— Тогда всё в порядке,— сказал Лёша.— Приказано строить.

Они ещё немножко поговорили, и через десять минут красный штабной мотоцикл уже мчал Лёшу Михайлова обратно домой.

* * *

А что было дальше, я вам в подробностях рассказать не могу. Где и как строились ложные объекты, это, как вы сами понимаете, очень большая военная тайна. Могу только сказать, что строили их вместе с Лёшей Михайловым и Коська Мухин, по прозвищу Муха, и Валька Вдовин, и другие новодеревенские ребята. Но Лёша Михайлов был у них главным инженером. И в штабе, куда он теперь частенько заглядывал за указаниями и за инструкциями, его так и называли:

«Инженер 1-го ранга Алексей Михайлов».

Работали ребята, в общем, на славу. Иногда, если нужно было, и по ночам работали, забывали пить и есть, не жалели ни сна, ни времени своего, но в школу всё-таки бегали, не пропускали, и Лёша Михайлов даже умудрился в эти дни получить «отлично» по русскому письменному.

А «Хеншель-126» теперь уже не летал в Новую Деревню, а летал туда, где возникали одна за другой новые зенитные точки. Следом за ним прилетали тяжёлые «мессеры» и «фокке-вульфы» и, не жалея боеприпасов, бомбили снежные блиндажи и деревянные орудия. А ребята сидели в это время дома или в убежище, прислушивались к далёким разрывам фугасок, переглядывались и посмеивались. И взрослые не понимали, чего они смеются, и сердились: ведь никто не знал, что фашисты бомбят снег. А ребята хранили военную тайну свято, как полагается...

Иногда, если немцы не замечали батарею и долго её не бомбили, ребятам приходилось достраивать или даже перестраивать её. Но таких было немного — две или три, а на остальные фашистские лётчики «клевали», как рыба клюёт на хорошую приманку.

В тот день, когда фашистские самолёты разбомбили двенадцатую по счёту снежную батарею, Лёшу Михайлова с товарищами вызвали в Ленинград, в штаб фронта. Их принял командующий фронтом. Из его рук Лёша Михайлов получил медаль, а товарищи его — почётные грамоты, в которых было сказано, что они отличились при обороне города Ленина, «выполняя специальное задание командования».

В этот же день лейтенант Фридрих Буш, командир разведывательного самолёта «Хеншель-126», получил Железный крест. Об этом писали немецкие фашистские газеты. Видели мы там и фотографию этого отважного лётчика. До чего же, знаете, глупое, самодовольное и счастливое лицо у этого прославленного героя!

Где-то он теперь, этот Фридрих Буш?..

А Лёша Михайлов жив, здоров, по-прежнему живёт в Новой Деревне и учится уже в восьмом классе.





ПЕРВЫЙ ПОДВИГ

Полковник Мережанов, командир гвардейской дивизии, кавалер орденов Отечественной войны, Кутузова и Александра Невского, а с недавних пор ещё и Герой Советского Союза, в боях под Сандомиром был тяжело ранен и лежал на излечении в Н-ском тыловом госпитале. Я приехал туда, чтобы писать о нём книгу. Полковник уже выздоравливал, ему разрешено было ходить, и он много и с удовольствием ходил, опираясь на суковатую палку, собирал ягоды и грибы, удил рыбу и даже пробовал играть на бильярде. Со мной он был очень вежлив и предупредителен, но боюсь, что особенной радости мой приезд ему не доставил. Как и все по-настоящему сильные и мужественные люди, Мережанов был скромен и неразговорчив; пуще смерти не любил он рассказывать о себе, а я с утра до ночи заставлял его говорить, и говорить именно о себе, о своих подвигах и переживаниях.

Пока он ловил в реке Шар-Йорка окуньков и ер-

шей, я выуживал из него подробности его боевой биографии. Он в лес по грибы — и я за ним. Он сядет отдохнуть в гамаке или в качалке — и я пристраиваюсь рядом.

В конце концов мне удалось собрать очень много материала, и мне казалось, что вся жизнь Мережанова — от детских лет до той минуты, когда он прочёл в «Известиях» указ о присвоении ему звания Героя,— уже действительно собрана и лежит у меня в портфеле, в четырёх потрёпанных и мелко исписанных записных книжках.

Только один факт в его биографии оставался для меня загадочным. У Мережанова было очень хорошее, умное кареглазое русское лицо. Это лицо я бы не побоялся, пожалуй, назвать и красивым, если бы не безобразил его глубокий рубцеватый шрам — след пулевого ранения,— тянувшийся через всю левую щёку, от уха до краешка верхней губы. Я знал, что Мережанов был одиннадцать раз ранен, но о том, что он был ранен в лицо, он никогда мне не рассказывал, и в истории его болезни, с которой я познакомился в кабинете начальника госпиталя, я тоже не нашёл никакого упоминания о таком ранении.

Однажды вечером, когда мы сидели с Мережановым в саду — он в гамаке, а я возле него на пенёчке,— я, как бы невзначай, между делом, задал ему вопрос:

— Скажите, полковник, я давно хотел спросить: откуда у вас эта царапина на щеке?

— Где? Какая? — спросил он, потрогав щёку, и вдруг нащупал рубец, понял, о чём я спрашиваю, помрачнел и как-то слишком поспешно и даже сердито, не глядя на меня, пробормотал: — Пустяки... Никакого отношения к вашей теме не имеет. Дело далёкого прошлого.

И, опершись на палку, он выбрался из гамака и сказал:

— Идёмте спать. Уже поздно.

Больше я не решался его расспрашивать. Бывает же у всякого такое, о чём неприятно и не хочется говорить. «Ничего не поделаешь»,— решил я. Тем более, что через несколько дней я должен был уезжать. И ведь надо же было так случиться, что именно в этот день, буквально за две минуты до отъезда, мне посчастливилось узнать тайну этого мережановского шрама!

* * *

Вместе со мной уезжали из госпиталя два молодых офицера, фронтовики Брем и Костомаров. Ещё с вечера мы попрощались с товарищами и врачами, а утром, чуть свет, поднялись, уложили вещи и вышли на шоссе, поджидая машину, которая должна была доставить нас на пароходную пристань. Накинув на плечи серую больничную курточку, вышел нас проводить и полковник Мережанов.

Солнца ещё не было видно, ещё лежала роса на траве, но вершины деревьев уже розовели и обещали хороший, ясный и спокойный августовский день.

Машина долго не шла. Мы сложили наши вещи у дороги и сами расположились тут же маленьким лагерем. Мережанов, по обыкновению, молчал: он лежал в стороне, покусывая какой-то цветок или травинку; я тоже молчал, зато молодые попутчики мои были возбуждены, много смеялись и говорили громко и наперебой.

За дорогой, в небольшой рощице, позвякивая колокольчиками, бродило колхозное стадо. Мальчик-пастух, которого я и раньше встречал в окрестностях госпиталя, то и дело высовывал из-за кустов свою белобрысую голову и поглядывал в нашу сторону. Видно было, что ему хочется подойти к нам и заговорить, да не хватает храбрости. Но всё-таки он подбирался всё ближе и ближе, наконец вышел на дорогу, постоял, посмотрел, сделал ещё два-три шага, неловко поздоровался и, не дожидаясь приглашения, сел у края дороги, подогнув под себя босые ноги и поло-

жив рядом свой длинный пастушеский кнут. Минуту он сидел молча, разглядывая ордена и медали моих спутников и не очень внимательно прислушиваясь к их разговорам; потом вдруг тяжело вздохнул, покраснел и сказал:

— Я извиняюсь, товарищи военные... Можно вопросик задать?

— Какой вопросик? Можно,— ответили ему.

— В общем... я вот чего хотел,— проговорил он, волнуясь, посапывая носом и ещё более краснея.— Я уже давно думал, с кем бы мне посоветоваться... Не скажете ли вы мне, товарищи, как бы мне... ну, одним словом, подвиг совершить?

Трудно было удержаться от смеха. Все мы громко и от души расхохотались. А мальчик ещё больше смутился, до того, что слёзы у него на глазах показались, и сказал:

— Да нет, вы не думайте, я ведь это серьёзно.

— А тебе что — так уж обязательно хочется совершить подвиг?

— Ага,— кивнул он.— Обязательно.

— Ну, так за чем же дело стало?

— А вот за тем и стало, что никакой возможности нет в моём положении подвиг совершить. Сами подумайте: где ж его тут у нас совершишь? Фронт от нас далеко: километров, я думаю, тыщи две. Полюсов тоже нет. Хотя бы граница какая-нибудь была — и той нету.

— Глупости, мой дорогой,— сказал лейтенант Брем.— Чтобы совершить подвиг, вовсе не обязательно ездить на фронт или открывать полюс. В любом деле можно проявить и отвагу и мужество и принести пользу родине.

— Да, это конечно,— рассеянно кивнул мальчик.— Это я читал...

Слова лейтенанта его нисколько не утешили. Обо всём этом он уже слыхал небось много раз и от учительницы, и от матери, и в книжках читал... И всё это

были для него пустые слова. А ему, наверно, и в самом деле до смерти хотелось совершить какой-нибудь громкий и небывалый подвиг.

— Ну что ж,— сказал он, подбирая свой кнут и поднимаясь.— Ладно... Пойду... Простите, коли так, что побеспокоил...

Он постоял, помолчал, почесал в затылке и уже другим голосом, более весело и развязно, сказал:

— Может, тогда хоть папиросочкой угостите? А?

Кто-то из нас, засмеявшись, дал ему папиросу. И прикурить тоже дал. И при этом, конечно, как это всегда бывает, не удержался, чтобы не сказать:

— Маленький такой, а куришь! Ай-яй-яй!..

— Эвона! — сказал мальчик басом, выпуская из ноздрей дым и морщась от крепкого табака.— Я уж, вы знаете, четвёртый год курю.

— Ну и дурак! Нашёл, чем хвастать. Вредно ведь.

— Ну да! — усмехнулся он.— Это только так говорят, что вредно. А сами небось все курите. Военные вообще все курят.

— Да? Ты думаешь? А вот я, представь себе, не курю.

Это сказал Мережанов. Он действительно не курил и даже табачного дыма не выносил.

Мальчик мельком, небрежно посмотрел на его серую курточку и сказал:

— Ну так что ж! Ведь вы же зато не военный...

Опять мы расхохотались. Пришлось объяснить мальчику, кто такой Мережанов. Но оказалось, что он лучше нас знает, кто такой Мережанов.

— Нет, верно? — воскликнул он, и заблестевшие глаза его так и впились в полковника.— Это вы?!

— Я,— с улыбкой отвечал Мережанов.

— Это вы прошлый год на бочках через Днепр переплыли? Помните?

— Ну как же, помню немножко,— сказал Мережанов.

— А под Житомиром это вы два батальона немецкой пехоты окружили?

— Э, брат, да ты, я вижу, какой-то вроде колдуна! Всё-то ты знаешь, ничего от тебя не скроешь. Ну тебя! — махнул рукой полковник.

Мальчик опять присел на корточки и во все глаза смотрел на знаменитого человека, о котором он небось и в газетах читал и по радио слушал.

— А почему же вы не курите, товарищ Мережанов? — спросил он.

— Почему не курю? Не хочу, потому и не курю.

— И раньше никогда не курили?

Полковник не сразу ответил. Мне показалось, что лицо его помрачнело. Внезапно он сел, как будто собираясь рассказывать что-то, посмотрел на мальчика и спросил:

— Тебе сколько лет?

— Одиннадцать.

— Ну да, правильно,— сказал Мережанов.— И я тоже начал дымить приблизительно в этом же возрасте. И дымил, представь себе, как паровоз, двадцать три года подряд.

— А потом?

— А потом взял и бросил.

— Доктор небось велел?

— Нет, доктора тут вовсе ни при чём. Конечно, курение приносит вред и лёгким, и печени, и селезёнке. Всё это истинная правда. Но, если бы дело было только в одной какой-нибудь там печёнке — может быть, и не стоило бы бросать курить. А я вот убеждён, что военному человеку вообще курить не следует. Особенно лётчику, разведчику, пограничнику...

Мережанов помолчал, посмотрел на маленького пастушонка, который неловко затягивался и неловко пускал из ноздрей дым, и сказал:

— Ладно, так и быть. Слушай. Расскажу тебе, чего со мной табак наделал. И вам, товарищи офицеры, тоже полезно будет послушать.

* * *

— В тридцать шестом году служил я в пограничных войсках. Был я тогда лейтенант и состоял в должности заместителя начальника погранзаставы. На какой границе и где — это неважно. Только скажу вам, что места эти были отчаянно глухие. Лес да болото, и ничего больше. В лесах этих водилось очень много дичи, ещё больше комаров, а зато людей там было очень немного. И люди эти были по преимуществу староверы, или, как их называли до революции, раскольники. Народ, между нами говоря, весьма положительный, трудолюбивый, непьющий и некурящий. Ну, насчёт выпивки не поручусь: может, и выпивают слегка. А вот что касается курения — это нет. Курение у них почитается за высший грех. Табак они даже не табаком, а «зельем» именуют. А зелье по-старославянски означает «яд». Жили они, эти староверы, в то время как-то на отшибе, на хуторах, с остальным населением не якшались, молились в своих молельнях, ели и пили из своей посуды... Ну, да ведь это, как говорится, дело их совести. Были, конечно, среди них и кулаки и прочие враждебные элементы, но тех уже давно попросили об выходе... А в остальном, я говорю, народ подходящий, трудовой, и жили мы с ними, в общем, в мире и согласии.

И только один человек на всём нашем участке был у нас на подозрении. Это была одна женщина, по фамилии Бобылёва. У неё двоюродный брат, некто Филонов, раскулаченный, в тридцать первом году бежал за границу. Там его очень быстро завербовала немецкая военная разведка, и за три года он несколько раз переходил нашу государственную границу. Это был очень ловкий и очень опасный враг. В 1935 году он среди бела дня застрелил из обреза учительницу Скворцову. Наверно, вы помните этот случай. Не помните? Ну ладно, я напомню. Учительница эта была коммунистка и депутат Совета. У Филонова с нею бы-

ли какие-то старые счёты: она его когда-то раскулачивала и писала о нём в областную газету. Так вот, этот Филонов, я говорю, среди бела дня пришёл в деревню; в школе в это время шли занятия, и учительница что-то писала ребятам на доске. Он распахнул окно, выпустил в упор всю обойму — и поминай как звали.

Его ловили, устраивали на него целые облавы — он, как угорь, сквозь пальцы у нас проскальзывал.

И вот однажды мы получаем сведения, что Филонов опять собирается перейти границу, что идёт он с очень важным и ответственным заданием в Москву и что у него явка на одном из хуторов в нашем районе.

Между прочим, в то время я ещё не знал, что Бобылёва — родственница Филонова. Пограничник я был молодой, на заставе служил первый год. Но у меня уже и тогда были серьёзные основания посматривать на эту женщину с подозрением.

Бобылёва жила на хуторе одна. Это была уже очень дряхлая старуха. Она ни с кем не видалась, никуда не ходила. И мы о ней до поры до времени ничего дурного не думали. Но один раз, возвращаясь из лесу с какого-то задания, я зашёл к ней на хутор напиться воды. Поила она меня из особого стакана, из которого сама не пила. Такая посуда, для посторонних, у них называется «поганой». Стакан этот был завёрнут в старую, скомканную газету. Случайно я взглянул на эти бумажные ошмётки и увидел, что газета эта... ну, одним словом, не наша, иностранная. Спросил старуху, откуда у неё. Говорит: «Не помню — кажется, в лесу нашла». В общем, это звучало правдоподобно. В деревне, как вы знаете, бумагой, даже каждым клочком её, дорожат. А найти иностранную газету в лесу, где ходит всякая сволочь, в наших местах нетрудно. Всё-таки я сообщил о своём «открытии» начальнику. Он тоже решил, что пустяки. Однако за этой Бобылёвой мы стали с тех пор последживать. Правда, ничего особенного не выследили, но подозрение как-никак осталось.

А когда мы получили сведения, что у Филонова явка на нашем участке, и когда я узнал, что Бобылёва — родственница Филонова, для меня вся картина сразу же стала ясной. Правда, в этом случае мне помогло ещё одно маленькое обстоятельство, о котором я не имею права рассказывать. Но факт тот, что я пришёл к точному и определённому заключению, что Филонов после перехода границы должен будет остановиться на хуторе у Бобылёвой. И тут я, как говорится, угадал с точностью до одной сотой миллиметра...

* * *

Я доложил о своих соображениях начальнику. Тот сообщил в штаб отряда. Меня вызвали в город, и там я получил задание — на свой страх и риск провести эту серьёзную и ответственную операцию по поимке Филонова. Для меня это был экзамен на боевую воинскую зрелость.

Не люблю хвастать, но должен сказать, что операция эта была разработана у нас по всем правилам искусства.

Накануне вечером, то есть накануне того дня, когда ожидалось появление Филонова, мы пригласили Евдокию Бобылёву на заставу и там, уж не помню, под каким благовидным предлогом, её задержали. А тем временем на хуторе у неё произвели обыск... Ничего такого умопомрачительного не нашли: ни оружия, ни взрывчатых веществ, ни карт каких-нибудь. Но и того, что было найдено, оказалось достаточным, чтобы нас не мучила совесть, будто мы ни за что ни про что потревожили на ночь глядя бедную, одинокую старушку. Нашли мы у неё там отрез заграничного, правда очень дешёвенького, ситца, баночку — тоже заграничного — лекарства от ревматизма и — самое главное — нашли профсоюзный билет на имя Василия Фёдоровича Пыжова. А мы знали, что под этой фамилией в позапрошлом году Филонов приходил в Советский Союз.

Попросили объяснений у Бобылёвой. Старуха по-

ломалась-поломалась, а потом расплакалась, раскудахталась и вынуждена была признаться, что Филонов, её двоюродный брательник, действительно бывал у неё не один раз, что последний раз он был у неё в прошлом месяце и что вскорости опять обещал прийти и обещал принести ей вязальных иголок и цветной шерсти.

Этих гостинцев она, разумеется, не получила: в тот же вечер её взяли под замóк.

А нам теперь оставалось только не прозевать Филонова. И вот тут-то мы, как говорится, и...



— Товарищ полковник, машина идёт,— перебил Мережанова лейтенант Брем.

— Что? Где? Какая машина? — закричал маленький пастушонок.

Он уже увлёкся рассказом Мережанова. Глаза у него блестели, сидел он, как на пружинках, и стоило полковнику задуматься или замедлить рассказ, как он уже начинал ёрзать и подпрыгивать, словно его муравьи кусали. Теперь он вскочил и с неподдельным ужасом смотрел туда, где в облаке розовеющей на утреннем солнце пыли и в самом деле шла, приближаясь к нам, высокая грузовая машина.

Но оказалось, что это не наша машина.

С тяжким весёлым грохотом она промчалась мимо. На огромной светло-зелёной горе капустных кочанов сидели, обнявшись, две девушки и громко, стараясь перекричать грохот мотора, пели. Проезжая мимо, они запели ещё громче, потом закричали что-то, и одна из них долго махала рукой, пока машина не скрылась за поворотом.

Мальчик облегчённо вздохнул, засмеялся и поспешно пристроился на своём прежнем месте, у ног Мережанова.

— Ну-ну, а дальше чего? — затеребил он полковника.

Но Мережанов опять задумался. Казалось, он не видел ни нас, ни мальчика, ни весёлого, шумного вихря, который промчался мимо.

— Н-да...— проговорил он наконец, тряхнув головой.— Оставалось, я говорю, ловить Филонова. Перед нами стояла, казалось бы, очень несложная задача: поймать зверя в западне, которую он сам себе устроил.

Ну что же, я сделал всё, что требовалось для этого. На всём участке, где нужно и можно было, я расставил усиленные пикеты пограничников. Я связался по телефону с соседними заставами. Там тоже была усилена охрана участков. На себя же я взял самую серьёзную и ответственную часть задачи: я ре-

шил сам, лично, сесть в засаду на бобылёвском хуторе.

Пошёл я туда без лишнего шума, никому, кроме начальника, об этом не сообщил и взял с собой одного только человека. Это был сержант Алиханов, азербайджанец, чудесный парень, необыкновенный смельчак, у которого на счету было более двадцати задержаний. Это значит, что он лично задержал и обезвредил больше двадцати врагов нашей родины.

Мы оба хорошо выспались, встали задолго до рассвета, часа в два ночи, плотно позавтракали и пошли на хутор.

Я хорошо помню эту ночь. Моросил дождь. Для Филонова это было, конечно, очень кстати, потому что дождь, как вы знаете, и следы смывает, и шорохи скрадывает. А пограничникам, наоборот, в такую погоду работать не приведи господи... Ну, да ведь мы собрались ловить его не на улице. Нам тоже это было на руку, что следов не оставалось.

В избе у Бобылёвой ещё с вечера был наведён полный «порядок»: в углу перед иконой лампадка теплится, на полу половички разостланы, у входа — ведро с водой, на столе — кринка с молоком и ситечко лежит, как будто старуха ушла на погреб и вот-вот вернётся.

Одним словом, нужно было садиться и ждать гостя. Мы так и сделали.

* * *

Я сел за пологом, возле печки, где у старухи стояла кровать и висела одежда. Это было очень удобное для маскировки и для наблюдения место. А мой напарник устроился в противоположном углу, около двери. Там стоял такой небольшой чёрненький шкафик, или, как у них это называется, «горка»,— для посуды и для хозяйственной утвари. От дверей Алиханов был отгорожен, а я его видел, и он меня тоже мог видеть, потому что полог был с этой стороны слегка раздвинут...

Ну вот... Что ж тут рассказывать! Сели и сидим. Оружие в руках держим. Сидим как положено. А положено в таких случаях сидеть молча, не шевелиться, не двигаться, не кашлять, не сморкаться, а если можно, так и не дышать. Занятие, конечно, скучное, да только — что ж, нам не привыкать.

Сидим час, другой, третий... На дворе уж последние петухи пропели. Уж светать начинает. Тогда у нас, между прочим, на границе такое правило было, что в пограничных посёлках окна, выходящие на западную сторону, должны были с наступлением темноты закрываться ставнями. Так вот уж сквозь эти ставни мы видим, как на дворе белый день занимается.

Ещё сколько-то часов проходит. Мы сидим. Не шевелимся. Не дышим. И такая, вы знаете, тишинища вокруг, что даже в ушах звенит. Только слышно, как тараканы где-то за печкой путешествуют, как дождь за окном шумит и как лампадка в углу перед «спасом нерукотворным» потрескивает.

Сначала я каждые пять минут на часы поглядывал. А потом запретил себе. Дал зарок: если раньше чем через час погляжу, значит, никуда не годится, значит, выходит, что я тряпка и у меня никакой воли нет.

Но и часы бегут, как минуты. Не успеешь поглядеть: час, ещё час, ещё один.

Закусили мы перед уходом, как я уже говорил, довольно плотно, а всё-таки уж опять и есть начинает хотеться. А ещё больше — курить хочется. Я и по себе чувствую, и особенно мне Алиханова жалко. Погляжу на его нос, как он уныло книзу повис, и прямо, вы не поверите, плакать хочется. «Эх,— думаю,— братец ты мой Алиханов, затянуться бы тебе сейчас один хороший разок «Беломорчиком» — небось моментально бы твой нос прежний боевой вид принял!» А он как будто, вы знаете, мысли мои услышал. Вдруг, вижу, зашевелился и рукой мне какие-то знаки делает.

— Что?

Вижу — суёт палец в рот. Потом руку к сердцу

приложил, глаза как сумасшедший выкатил и головой мотает. Дескать, умираю, терпения нет, до чего курить охота.

А я что ж? Говорю: нет! Головой качаю. Нельзя, дескать.

А сам думаю: а что, в самом деле?.. Разве, и правда, выкурить одну штучку на двоих? Никакой ведь опасности в этом нет. Окна ставнями закрыты, не видно... А то этак и в самом деле можно с ума сойти. Без курева у курящего человека и голова плохо работает.

Одним словом, стал себя всячески убеждать, что покурить необходимо, что вреда от этого нет, что запрещение курить на посту — одна проформа. Это, дескать, на воле, в лесу или на открытой местности — там, действительно, это недопустимо, а здесь...

И всё-таки я довольно долго боролся с этим дьявольским искушением. Я терпел сам и Алиханова заставлял терпеть. Но тут произошло одно маленькое происшествие, одна сущая мелочь, которая, собственно, нас и погубила.

* * *

Короче говоря, перед иконой погасла лампадка. Она уже давно не горела, а так, как говорится, на ладан дышала. Масло в ней выгорело, и вот наступила минута, когда она замигала, замигала, вспыхнула напоследок ярким светом, и сразу же в комнате наступила полная тьма. Только сквозь ставни в комнату пробивались жиденькие лучики. Но и они с каждым часом становились всё бледнее и бледнее: на улице темнело, шёл дождь.

Теперь уж я не мог и во времени ориентироваться. Сначала ещё кое-как разбирался, пока не так темно было. А потом и часы мои оказались бесполезными.

В темноте, как вы знаете, ещё труднее сидеть в засаде. Только очутившись в полном непроницаемом

мраке, ты начинаешь понимать, как, собственно, много у тебя было развлечений, пока не померк свет, пока хотя бы мигала и освещала избу вот такая убогая лампадка. Можно было смотреть на Алиханова. Можно было следить за тараканом, который безуспешно пытался форсировать какую-то щель в обоях на стене. Можно было, наконец, рассматривать вещи и думать о каждой из них: как она сюда попала, кто её мастерил, и так далее.

И от этого, оттого что нет никаких развлечений, время идёт в темноте ещё медленнее. И голова как-то тяжелеет. И курить ещё больше хочется.

Было уж совсем темно, когда я решил посмотреть на часы.

Нужно было зажечь спичку. Конечно, я сделал это с предосторожностями. Мало того, что я находился за пологом,— я залез ещё под кровать. И там в самом укромном уголке, закрываясь руками и полами шинели, я зажёг спичку. Посмотрел на часы. И вы знаете, даже испугался: было уже восемь часов вечера. Следовательно, выходило, что мы просидели с Алихановым в засаде уже семнадцать с половиной часов!

Спичка моя погасла, и я хотел уже выбираться из-под кровати — вдруг слышу в темноте этакий робкий, жалобный и необыкновенно хриплый от долгого бездействия голос Алиханова:

— Товарищ лейтенант... Оставьте!

Я не сразу сообразил, что это он меня покурить просит оставить. Значит, он заметил огонёк, видел, как я зажигаю спичку, и решил, что я закуриваю.

Может быть, вы мне не поверите, скажете, что я лицемерю и себя оправдываю, но, вот честное слово, мне до смерти Алиханова жалко стало. Я думаю: человек ждёт, надеется, уж у него все жилки от нетерпения трясутся, а я ему что — фигу покажу? Нет, думаю, это не по-товарищески, не по-солдатски... Э, думаю, в конце концов — чепуха, одну штучку можно...

Вынул «Беломор», зажёг с теми же предосторожностями ещё одну спичку и закурил.

Покурил, накачался дымом и стучу Алиханову — на условном языке, каким мы в засадах между собой переговариваемся: дескать, иди ко мне!.. Он ждать себя не заставил, без труда меня разыскал, заполз под кровать и докурил мою папиросу.

Никогда не забуду, с каким наслаждением он крякал и покашливал!.. Эх, Алиханов, Алиханов!.. Не думал я тогда, что эта папироса последняя в его жизни!..

Полковник тяжело вздохнул, подумал немного и покачал головой:

— Н-да... Алиханов, я говорю, покурил, затоптал как следует свой окурок, ни слова не сказал, только вздохнул с облегчением и вернулся к себе, за свой шкафик.

И вот опять потекли бесконечные и томительные часы и минуты.

Прошло, вероятно, ещё пять или шесть часов. Уж не буду рассказывать, какие меня за это время мысли одолевали.

Одним словом, дело дошло до того, что я решил плюнуть и уходить из засады. Конечно, обидно было, а что же поделаешь? Бывают и не такие неудачи в жизни.

Я дал себе срок: сосчитаю до пяти тысяч и, если ничего не случится, уйду.

Стал потихоньку считать: раз, два, три... пять... десять... пятнадцать... двадцать...

И вот, представьте, не успел и до одной тысячи сосчитать — слышу во дворе: хлоп! Калитка стукнула.

Я сразу и со счёта сбился. И спать мне моментально расхотелось. И голова сразу ясная, как стёклышко, стала.

Слышу, мой Алиханов затвор у своей винтовки легонько потянул — значит, и он тоже услышал.

Сидим — и уж на этот раз и в самом деле дышать боимся. Одними ушами работаем. Слышим, идёт кто-то. Остановился. На крыльцо поднимается. Распахнул дверь, вошёл, одну только секунду у порога постоял, и вдруг в темноте: бах! бах! бах!.. Пять винтовочных выстрелов.

Я как раз в этот момент голову нагнул, к прыжку приготовился — меня по щеке полоснуло... И я даже выстрелить не успел — слышу, дверь уж опять хлопнула.

Всё-таки я успел выбежать за ворота и выпустил наугад в темноту несколько пуль. Но это уж так, для очистки совести. Никакого смысла в этом уже не было: Филонова и след простыл.

Ловили его всю ночь. Весь лес прочесали. Все закоулочки обыскали. И не нашли. Как говорится, в воду, подлец, канул...

— А что Алиханов? — перебил полковника мальчик.

— Алиханов был убит наповал,— ответил полковник. И не только я, но и все остальные заметили, как дрогнул его голос.— Когда мы вернулись на хутор, он уже не дышал. Как видно, этот смелый парень после первого выстрела Филонова ещё успел выскочить из своего укрытия, потому что тело его нашли не за шкафом, а посередине избы. Он и мёртвый крепко держал свою винтовку, и палец его лежал на спусковом крючке — по-видимому, он приготовился стрелять в тот момент, когда его настигла шальная филоновская пуля.

— Послушайте, товарищ полковник, так в чём же дело? Чем же вы себя демаскировали? Почему Филонов так уверенно стрелял? Что он, шум или шорох какой-нибудь услышал?

— Какой шум? Я же вам говорю, что мы сидели как мёртвые. И никаких шорохов, кроме тараканьих шагов, он услышать не мог. А в чём было дело — это уж после, месяца через полтора, выяснилось. Фило-

нов, как и следовало ожидать, в конце концов был пойман. Где-то в глубоком тылу его арестовали, и на допросе он дал показания, в том числе и по данному случаю.

Я тогда только что из госпиталя вышел. Меня вызвали в город, к начальству, и там я имел не очень большое удовольствие познакомиться с этими филоновскими показаниями.

В этих показаниях всё выглядело очень просто, даже, я вам скажу, до обидного просто. Оказалось, что нас погубило не что иное, как табачное зелье. Филонов по происхождению был тоже из староверов. Он и сам не курил, и нюх у него на этот счёт был очень острый. Когда он вошёл со двора в избу, стоило ему только повести ноздрями, и он сразу же понял, что дело неладно. Сразу же, как говорится, оценил обстановку и сделал выводы.

Вот и всё.

Конечно, за эту историю я получил от начальства очень строгий выговор. Да только — что ж выговор? Я и сам себя распекал не жалеючи. Я был сердит на себя, как никогда в жизни. Ведь мало того, что я Филонова из рук выпустил,— я своего человека погубил. Ведь Алиханов-то мёртвый, и его не вернёшь!

Подумайте только — дикость какая! Из-за какого-то зелья, из-за какой-то дурацкой сушёной травки погиб человек!

Я шёл тогда из штаба отряда на станцию, чтобы ехать обратно на заставу. Переходил через какой-то мост. И тут, на мосту, я и пришёл к этому решению. Я вынул из кармана папиросы и бросил их в воду. И с тех пор — кончено, стоп! Восемь лет уж прошло, и за эти восемь лет я ни одной штучки не выкурил.

— И не хочется? — с интересом спросил мальчик.

— Ну, братец ты мой,— усмехнулся Мережанов,— хочется или не хочется — это военная тайна. Ничего не скажу: первое время трудно было. Особенно если принять во внимание, что я в таких расстро-

енных чувствах находился. Но зато я считаю, что это был мой первый и по-настоящему серьёзный подвиг.

Полковник улыбнулся и положил руку мальчику на плечо.

— Вот, милый друг Ваня,— сказал он.— Если уж тебе действительно так хочется совершить подвиг — пожалуйста. Бери с меня пример: бросай курить. Для начала будет неплохо.

— Д-да, конечно,— сказал мальчик, и я заметил, как он смущённо спрятал за спину папиросный окурок, который за минуту до этого прикуривал у лейтенанта Брема.

Внезапно он насторожился и навострил уши.

— Машина идёт! — объявил он.

На этот раз это была наша машина: маленький, тесный, как колыбель, «виллис» с открытым верхом.

Мы с трудом разместили наши пожитки в этом игрушечном автомобильчике, попрощались с Мережановым и с мальчиком, сели и поехали.

У поворота я оглянулся.

Мережанов, высокий и широкоплечий, стоял, опираясь на суковатую палку. Немного поодаль стоял мальчик-пастух. Я видел, как за спиной Мережанова он затянулся, пустил дым, потом посмотрел на окурок, поплевал на него и бросил.

Мережанов что-то крикнул нам раскатистым басом и помахал рукой.

Потом машина свернула направо, и оба они скрылись из наших глаз.

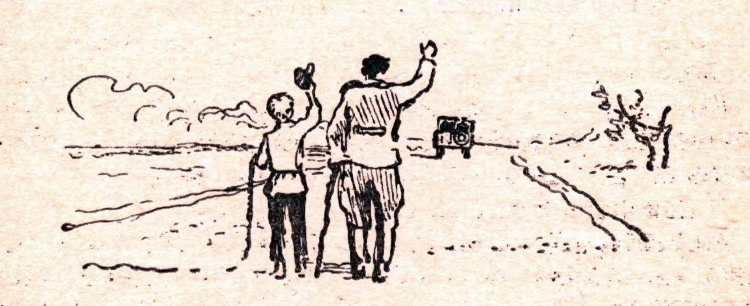
Я долго думал о Мережанове, обо всём, что он нам рассказал сегодня, и об этом мальчике тоже.

Я не знаю, навсегда ли он бросил курить или только окурок бросил. Но, если он действительно бросил эту дурную привычку, он сделал очень большое дело. Мережанов, конечно, правду сказал: не в лёгких и не в печёнке дело. А дело в том, что, если мальчик сегодня сумел побороть в себе эту маленькую страстишку, кто знает, какие подвиги, громкие и высокие, он

совершит впереди! Он и на полюсе, если нужно, побывает, и на бочке Днепр переплывёт, и на горячем коне поскачет впереди полков и дивизий, и — мало ли других славных дел на пути у каждого мальчика!..

Я думал о нём, и мне казалось, что я уже вижу на его груди золотую звезду Героя.

А маленькая наша машина, подпрыгивая, катилась по шоссе. И навстречу нам уже тянуло прохладой от большой и широкой реки, по которой нам предстояло плыть.



СОДЕРЖАНИЕ

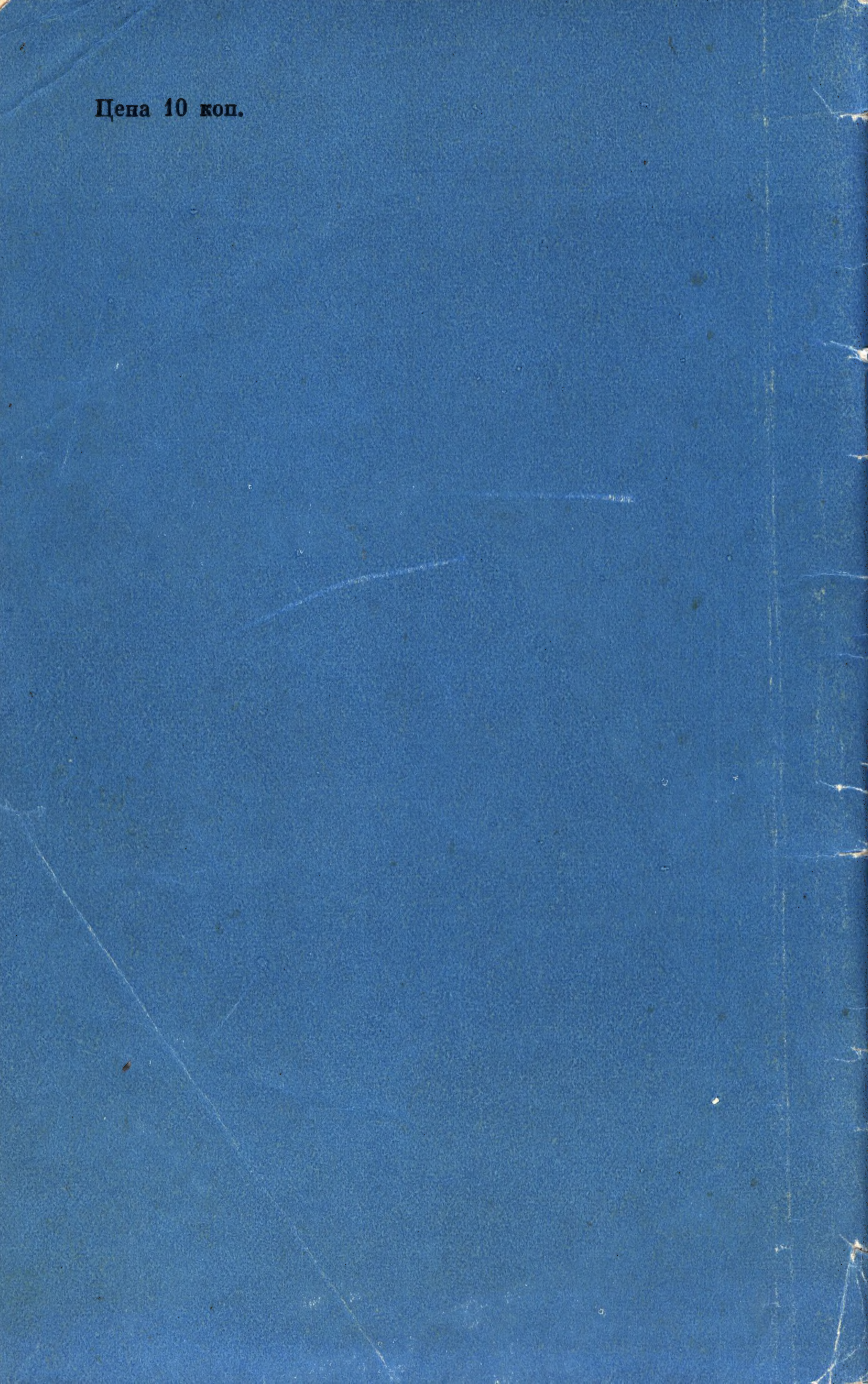
ДЛЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Пантелеев Алексей Иванович

ЧЕСТНОЕ СЛОВО

Рассказы

Ответственный редактор С. В. Орлеанская. Художественный редактор Н. И. Комарова. Технический редактор О. Н. Яковлева. Корректор Л. И. Дмитрюк.
Подписано к печати с матриц 28/VII 1969 г. Формат 60×90/16 Печ. л. 4 (Уч.-изд. л. 2,96.). Тираж 500 000 экз. Цена 10 коп. на бум. № 2.
Ордена Трудового Красного Знамени изд-во «Детская литература» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва Центр, М. Черкасский пер, 1. Отпечатано с матриц Ордена Трудового Красного Знамени фабрики «Детская книга» № 1 Книжной фабрикой № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР, г. Электросталь, Московской обл., Школьная, 25. Заказ № 716



Цена 10 коп.